

Велимир Хлебников

СКУФЬЯ СКИФА

Мистерия

— Идем сюда, — сказал Ка, — где Скифы из Сфинкса по утрам бегают по золотистому песку.

Лелеемые усталой ладонью ветра, сыпались пески и убегали дальше то как мука, то как снег, то как золотое море шумящих тихо-золотистых струн.

Рогатая степная змея подымала голову и после, тихими движениями, набрасывала себе на глаза песочную шляпу. Золотистый, он с шорохом просыпался со лба змеи. Жаворонок, недавно прилетевший из дальней Сибири, садился на черный сучок рога змеи, на ее засыпанный песком лоб, как на ветку, и погибал в меткой пасти. Он только что спустился из облачных хребтов, где они летели вместе, бок о бок, как моряки, слыша удары грома и поляны тишины заполняя своим пением жаворонков. Он отдыхал в вечно мерзлой стране на высунувшемся из крутого берега темно-глиняном, покрытом резьбой столетий, клыке мамонта; он ночевал в пространной глазнице мамонта; а утром, когда их стая, щебеча и опьяненная полетом, соединяла свои голоса в тот мощный звучащий собор, который мог бы быть понят отдаленным громом или отголоском великого пения богов, то человеку человеческий мир вдруг показался тесным и менее, чем ранее. Жаворонок, серебряный, с черными рогами, затрепетал и вдруг поник головой. Его большой черный глаз, где отражались еще реки Сибири, полузакрылся. «Я умираю, я тону в лоне смерти, — сказал он, — я, жаворонок». Став толще, песчано-золотая змея засыпала и последним каменным взором с желтым зрачком посмотрела на каменного льва. Чтобы напоминать молодым людским волнам о старых гребнях людей, его вытесали из камня и дали упругий удар хвоста кругом бедер, и плененные бедра, и полузакрытые глаза, и разрезанные морщинами веков губы. Он смотрел по-человечески вдаль, полузакрыв в песках звериные лапы. Случалось, что утренний морок останавливался около уст шептаться о тайнах столетий. Скомканные перчатки и скомканный плащ лежали на лапе льва. И странно было видеть черное сукно на суровом камне.

В это время малиновый меч солнца упал поперек пустыни, а черные пятна ночи побежали прочь, и прекрасное пение бесов донеслось до змеи из глубин мятежного звериного камня. Что там было, там, в подземельях львиного туловища, за кругом львиного хвоста? Седой вдохновенный жрец отодвигал на нити времен новую четку дня. Он стоял протянув руку. Юноши в венках были внизу. Жрица с голубыми серо-бледными глазами складывала, согнувшись, ветки для костра. Веря жрецу и задумавшись, она смотрела в упор серыми глазами и молчала. Руки ее собирали травы и бледные лютики, украшающие венки. Жрица молча смотрела на нас, прекрасно и строго, но веря нам, и одежды озером падали к ногам. Девы с черной повязкой кругом стана. Хворост, венки и смолы были сложены. Злаки пустынь, покрытые ручьем серебряного волоса, круглые и восково-зеленые, лежали на круглом камне. Сквозь черный колодец вынутого камня падал к нам малиновый луч.

А кругом, как стены храма, с задернутыми облаками глазами, лежал наполовину человеческий лев. Губка времени была пролита на его лицо.

— Дети, — сказал жрец, — вот он зажегся, сияющий глагол.

Мы благоговейно слушали его в этом подземелье храма. Он продолжал дальше:

— Вот большие и малые солнца кружатся во мне. Слышите ли вы их звук, как они поют, и пение их сливается с морским глаголом с морем солнц, с пением утреннего неба? И вся слава меня хвалит звездную славу там. И если мы небесы и черный ветер концов наших грив, пена снежных комьев усталости, захлестывающие нас удары хвоста, злые глаза осады. Топот. Еще топот! Сколько их поднялось на дыбы и гуляет на задних ногах, грозя передними. Мы заполняем пропасти утесами, на которых книги, не прочтенные седыми волхвами тысячелетий. Мы захлестываем себя гривами, спешно набрасывая горный мост к небу. О, гул восстания! Осада. Деревья, бревна, осколки законов, горы, веры — все заполняет ров к замку неба. И улыбка судеб торчит репейником на наших диких гривах. Черные, белые, золотые, снежные товарищи. Вы походите на крыло орла, клюющего небо!

Стук прервал его мятежный голос.

— Что — там?

— Путешественник с сухой дыней на голове стучит палкой по камню храма, — ответили мы.

— Добре. Ломка уз еще надежней и верней. Пучина пуз пылает пеною парней! — огненно заключил он, сходя.

— Вспомним про полузадернутые временем глаза храмозверя. Вспомним эту губку времени, пролитую мимо глаз! — он кончил.

Прекрасный удав со свинцовым взглядом и холодным разумом в них, как будто на дереве, качался у него на руке. Серо-пепельные пятна свинцово-железным сложным узором украшали его тело. Он дважды обвил руку — живой думающий жезл, раскачивающий свое тело. Вы, жреческие отроки, расскажите, где вы были? Все сели на белые каменные лавки, вдоль стен. И ты, сероглазая и бледная, ты, призрак каменной лавки, вслушайся в таинство другого разума. Утро кончилось. Все начали свои повести. И первый начал:

— Я сидел в подводной лодке, я склонился над столом-зеркалом. Журчание воды слышалось сверху и с боков. Мы неслись. Однообразные волны серым узором плеска покрывали поверхность зеркала. Но темная черта омрачила море, и на ней были трубы и дым; на корме были люди. Звонок. Звонки. Шум подводного выстрела. Бледное пламя! Мы сказали: «Хох!» Мы ложились на дно. Нас обгоняли человекоподобные предметы. Так, крутясь, падают листья дерева — в голубой сумрак дня, и стучались в окна подводной лодки рукой мертвеца. Веками раньше, но в тот же вечер, в пустыне дубовых стволов, под водой гребя веслами, мы, Запорожская Сечь, подплыли к голубому городу и качались под водой и сторожили черно-золотые паруса. Под водой мы гребли веслами. Красное, как сегодня утром, солнце закатывалось в море. Но сечевики дышали в трубки, держали в руках смоленые концы весел и тихо качались под водой. Но вот проплыла ладья. На ней стояло много женщин в белом; все темные и стройные. Стоя на корме в длинных золотых кольцах на локтях и ногах, они были дети, ответившие на синие волны моря черными лучезарными волнами волос. Они плыли дальше. Наш вождь поплыл вплавь и как утопленник был принят на ладью. Сытые грабежом, мы поплыли назад. Пустые дубы чуть заставляли горбиться, море, и только морские хохотуны, увидя нас, прядали кверху. Морской шар синел. Мы были у родины. Славянки в золотых волосах встречали нас у устья реки и пели:

Челнок с заморским витязем
Зовет на берег выйти земь.
Толпе холодных лад

Не надо медных лат.
Мы бросили жребий в синь,
Венком испытую богинь.
Вернулись! Вернулись! Вернулись!
Знакомые тополи улиц.
Голубые, плакать не за чем.
Есть утех колосья резать чем.

Мы тихо зевали, утомленные длинным рассказом, где времена сияли через времена. И кто-то сказал: «Я тот же! Я не изменился!»

Мы встали и разбрелись. Костер дымился над серебристым пеплом. Но вот священное пламя заколебалось и задвигалось как змея, когда она прислушивается к священным звукам. Все насторожились. Кто-то вошел и шепнул на ухо и показал на камень змеевласой женщины, стоявшей в сумраке. Кто-то сказал: «Помни об осужденных умереть на заре. Ах! Сплести еще одно уравнение поцелуев из лесных озер».

Целый день нагой я лежал на песчаной отмели в обществе двух цапель, изучаемой каким-то мудрецом из племени ворон. Он не видал еще нагого человека. Я думаю так.

Между тем озеро, полное неясных криков и вздохов, начинало жить особой ночной жизнью. Вздохи избытка жизни, покрываемые мрачным кашлем цапель, доносились от него, похожего на тусклое серебро. Сын Солнца, женоподобный, темный, в волосах ниже плеч — бывало, он любовно и нежно расчесывал их большим гребнем, точно он звал это делать незнакомую девушку, — выходил из-за костра, и чем сильнее он опускал свой гребень в темные волосы, тем любовнее и темнее делались его добрые глаза.

Кружево и белая рубашка женщины оттеняли темную шею йога. Его ноги, одетые в светлые волосатые штаны белого, были обуты в привязанные ремнями подошвы.

Я помнил кроваво-золотые пятна на голубовато-белой голове призрака, золотое пятно его шлема и черный дым над ним, точно копоть над пламенем свечки.

Пустыня молчала. Ночью мы поднялись смотреть коготь гуся, блиставший в вышине, и освежиться дивным холодом ночи.

Большие костры изумили нас. Путешественник заснул и, упав головой, темнелся около ног, закрытый плащом.

— Завтра вы оставите храм, — сказал старик.

К утру, во время черной зари звезд, мы расстались.

— До свиданья, — сказали мы.

Ка увел меня за руку. Прошли месяцы войны.

Мы встретились на севере, у моря, на покрытых соснами утесах.

Я вспомнил слова седого жреца: «У вас три осады: осада времени, слова и множеств». Да, государство людей, родившихся в одном году. Да, таможенные границы между поколениями, чтобы за каждым было право на творчество.

Правда, их тела нам не нужны. Но ведь отдельные тела — листья, и остается еще дуб. Пусть он воет от наших ударов — что нам до листьев? — их много, и на смену одному вырастет другой.

Поезда уже были проложены по дну моря; я воспользовался одним из них. Среди этих утесов, изрытых морщинами, чьи ноги были вымыты морем, мне нужно было найти Числобога — бога времени. Один из этих черных утесов, точно любимец древних — зубр, стоял в море и рога опустил в море. Я шел к нему, шагая по людским глинам, прилипавшим к подошвам. Глина тихо скрежетала. Мы относились к людям, как к мертвой природе.

Китаец, со спрятанной косой, пропустив сквозь ноздри змею, вышедшую потом изо рта, улыбался узкими глазами в слезах, приговаривая: «Хорошая змея, живой змея». Потом он носился с гремющей острогой, собирая зрителей, и высек за что-то маленькую куклу, у которой просил помощи и чуда.

— Теперь сделает, — лукаво объяснил он свой договор с небом. Белая мышь выползла из чашки.

— Живой, — радостно указывал, что мышь — живой.

— Где Числобог? — спросил я его. Он вынул змею и сказал:

— Ветер знает, моя бог не знает.

— Стрибог, ты синий и могучий, ты, верно, знаешь, где Числобог?

— Нет, — ответил, — я должен сейчас как буря погнать над морем стадо ласточек. Спроси Ладу — она среди лебедей и лелек.

Лада направила к Подаге.

Подага холодно убивала зайца о ружье и в белой шубке стояла на поляне. Знакомые серо-голубые глаза удивили меня.

— Числобог? — спросила Подага. — Он стал где-то королем государства времени.

Две гончие своим зовом прервали разговор. Это меня удивило. Как? Он собирал подписи своих первых подданных? Числобог мог стать королем времени? Легкий вздох вырвался вслед навсегда исчезнувшей Подаге.

Привыкший везде на земле искать небо, я во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, как земли, кружились кругом большого. Что ж, от этого Подага не вернется. И даже лай ее гончих становится все тише и тише. Я стал думать про власть чисел земного шара. Еще уравнение вздохов, потом уравнение смерти. И всё.

На этом государстве не будет алой крови, а только голубая кровь неба. Даже среди животных различают виды не только по внешнему виду, но и по нравам. Да, мы искусные и опасные враги и не скрываем этого.

Я был у озера среди сосен. Вдруг Лада на белоструйном лебеде с его гордым черным клювом подплыла ко мне и сказала:

— Вот Числобог, он купается.

Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с темной бородкой, с синими глазами в белой рубаше и в серой шляпе с широкими полями.

— Так вот кто Числобог, — протянул я разочарованно. — Я думал, что что-нибудь другое!

— Здравствуй же, старый приятель по зеркалу, — сказал я, протягивая мокрые пальцы.

Но тень отдернула руку и сказала:

— Не я твое отражение, а ты мое.

Я понял это и быстрыми шагами удалился в лес. Море призраков снова окружило меня. Я этим не смущался. Я знал, что $\sqrt{-1}$ несколько не менее вещественно, чем 1; там, где есть 1, 2, 3, 4, там есть и, -1 и -2, -3, и $\sqrt{-1}$, и $\sqrt{-2}$, и $\sqrt{-3}$. Где есть один человек и другой

¹ Ср. с «Мнимостями в геометрии» Флоренского об образных возможностях, тающихся в математической идее мнимого числа, комплексных чисел. Ср. также у Музиля в «Тересе» и у Замятина в «Мы». У Хлебникова мнимая единица — постоянный персонаж. См. в рассказе «Ка»: «А вы знаете, что природа чисел та, что там где есть да числа (положительные и отрицательные существа), там есть и мнимые ($\sqrt{-1}$)? Вот почему я настойчиво хотел увидеть $\sqrt{-1}$ из человека и единицу, делимую на человека. И его лицо преследовало меня всюду в шуме улиц». Лейбниц, называя мнимые числа «чудом», говорил: «Это поразительный полет духа Божиего, это почти амфибии, пребывающие где-то между бытием и небытием».